

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



## *Содержание*

«ХАДЖИ-МУРАТ» ЛЬВА ТОЛСТОГО.

*Л.К. Чуковская.*

9

ХАДЖИ-МУРАТ

23

КОММЕНТАРИИ

152

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

*Быль*

167

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ

193

ДВА ГУСАРА

320

ДЕКАБРИСТЫ

381

КАЗАКИ

415

5

ОТЕЦ СЕРГИЙ

575

АССИРИЙСКИЙ ЦАРЬ АСАРХАДОН

621

БОЖЕСКОЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

626

БОГ ПРАВДУ ВИДИТ, ДА НЕ СКОРО СКАЖЕТ

663

СКАЗКА ОБ ИВАНЕ-ДУРАКЕ И ЕГО ДВУХ БРАТЬЯХ:  
СЕМЕНЕ-ВОИНЕ И ТАРАСЕ-БРЮХАНЕ, И НЕМОЙ СЕСТРЕ  
МАЛАНЬЕ, И О СТАРОМ ДЬЯВОЛЕ И ТРЕХ ЧЕРТЕНЯТАХ

671

ДВЕ РАЗЛИЧНЫЕ ВЕРСИИ ИСТОРИИ УЛЯ  
С ЛУБОЧНОЙ КРЫШКОЙ

697

# ХАДЖИ-МУРАТ



## «Хаджи-Мурат» Льва Толстого

### РАССКАЗ НА ПРОГУЛКЕ

В 1859 году, в одном из флигелей яснополянского дома Толстой устроил школу для крестьянских ребят. Редкостная дружба связывала учеников и учителя. Зимой они вместе катались на санях и на коньках, играли в снежки; летом вместе барахтались в пруде, вместе ходили в лес за грибами.

«Мы так сблизились с Львом Николаевичем, как вар с драгвой», — вспоминал впоследствии один из учеников яснополянской школы. «Мы были неотлучны от Льва Николаевича, и нас разделяла одна только ночь».

Зимними вечерами Толстой сам разводил учеников по домам и по дороге рассказывал им увлекательные и страшные истории. На одной из таких прогулок он рассказал школьникам историю знаменитого кавказского горца — Хаджи-Мурата.

...«Только что я умолкал, Федька уже требовал, чтобы я говорил еще и таким умоляющим и взволнованным голосом, что нельзя было не исполнить его желания... Я кончил рассказ тем, что окруженный абрек запел песню и потом сам бросился на кинжал. Все молчали. «Зачем же он песню запел, когда его окружили?» — спросил Семка. «Ведь тебе сказывали — умирать собрался!» — отвечал огорченно Федька. «Я думаю, это молитву он запел!» — прибавил Пронька».

В повести о Хаджи-Мурате, написанной Толстым через несколько десятилетий после этой вечерней прогулки, — никто из окруженных горцев не бросается сам на кинжал; но один из

верных мюридов Хаджи-Мурата поет во время смертельного боя, и поет молитву. «Курбан сидел с края канавы и пел: «Ля иллях иль Алла» / «Нет бога кроме бога».

Рассказанная в 1861 году детям яснополянской школы история гибели Хаджи-Мурата — это первый, не дошедший до нас, вариант будущей повести, это — ее зерно, ее давний прапредок. О самом Хаджи-Мурате Толстой упоминает еще раньше, в пору службы своей на Кавказе, в 1851 году, в письме к брату Сергею: «Ежели захочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях передался русскому правительству».

Бурная жизнь Хаджи-Мурата, полная побед, поражений, измен, полная страстной борьбы и окончившаяся трагической гибелью, сильно поразила воображение Толстого. В 1896 году — через 45 лет после письма к брату о переходе Хаджи-Мурата к русским — Толстой снова вспомнил знаменитого горца. «Вчера иду по передвоенному черноземному пару, — записано у него в дневнике 19 июля 1896 года. — Пока глаз окинет, ничего кроме черной земли, ни одной зеленой травки; и вот на краю пыльной серой дороги куст татарника (репья). Три отростка: один сломан, и белый, загрязненный цветок висит; другой сломан и забрызган грязью черной, стебель надломлен и загрязнен; третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли, но все еще жив и в середине краснеется. Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хоть как-нибудь, да отстоял ее». Из этой записи видно, что задуман был «Хаджи-Мурат» как повесть о стойком сопротивлении, как повесть о человеке, не подчиняющемся обстоятельствам, стремящемся их одолеть, хотя бы и ценою жизни.

«Хочется написать». И Толстой принялся за работу. Он писал повесть о Хаджи-Мурате в общей сложности около восьми лет — с 1896 по 1904 год, — надолго отрываясь от нее для писания тех вещей, которые он считал более важными, откладывая ее иногда на многие месяцы, но неизбежно возвращаясь к ней снова. Он писал ее в те годы, когда под влиянием своих религиозных идей почти отказался от художественного творчества, считая его «пустым», «ничтожным» занятием, как бы

«потихоньку от себя», — но, перечеркнув написанное, начинал сызнова и произвел для своей небольшой повести целое историческое исследование, используя для нее большой документальный материал.

#### «ПОДРОБНОСТИ ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ»

«Когда я пишу историческое, — говорил Толстой, — я люблю быть до мельчайших подробностей верным действительности».

Известно, какое огромное количество документального материала, печатного и рукописного, изучил Толстой, работая над «Войной и миром». Тут были и письма современников, и воспоминания участников боев, и исследования специалистов-военных. Велика была также подготовительная работа к «Хаджи-Мурату». Толстой изучал жизнь, сказания, предания народов Кавказа; их оружие, их одежду, их пищу; их обычаи и верования, их религиозные обряды. Друг Толстого, замечательный критик и искусствовед Владимир Васильевич Стасов, служивший в те годы в Публичной библиотеке в Петербурге, посылал ему целые ящики книг о Кавказе и о Шамиле. Толстой читал записки современников и очевидцев, помещенные в исторических журналах, доклады военному министру Чернышеву кавказского наместника Воронцова, доклады Чернышева царю, «записку, составленную из рассказов и показаний Хаджи-Мурата», воспоминания русских офицеров, служивших на Кавказе, и воспоминания о Николае участников декабрьского восстания. Не довольствуясь материалами, опубликованными в печати, он добывал материалы из государственных архивов, из Петербургского и Тифлисского, — и письменно опрашивал старых людей, которые в девяностых годах еще помнили события пятидесятых и видели живого Хаджи-Мурата. Он обратился с письмом к вдове нухинского начальника Карганова, у которого жил Хаджи-Мурат накануне бегства. По этому письму можно судить, как сильно занимала Толстого «действительность в ее мельчайших подробностях».

«Чи были лошади, на которых он хотел бежать, — спрашивает Толстой старушку Карганову, — его собственные или данные ему? Хорошие ли это были лошади и какой масти? Заметно ли он хромал?»



Бывшую фрейлину императорского двора, А.А. Толстую, Толстой просит сообщить ему «именно подробности, именно обыденной жизни». Он тратит много усилий, чтобы разузнать, носил ли Николай I в пятидесятых годах плюмажи, или «они оставались у генералов, а государь уже не носил их». Один из друзей Толстого, навещавший его во время тяжелой болезни, рассказывает, что Лев Николаевич даже в жару был сильно озабочен тем, правильно ли именует он в повести кавказского наместника Воронцова, имел ли Воронцов в ту пору титул князя или он оставался графом?

Огромная подготовительная работа не пропала для художника даром. Повествование, развивающееся с такой естественностью, живостью и простотой, как будто оно было в один вечер рассказано на прогулке детям, — на самом деле выверено и точно в каждом слове. Идет ли речь о том, из какой табакерки нюхал табак Воронцов, или о том, какого цвета шуба была на Шамиле, или о партии виста в гостиной, или о соловьиных трелях в Нухе — чуть ли не каждая мелочь, даже соловьиная трель, может быть подтверждена документом. Исследователи творчества Толстого давно уже с неоспоримой наглядностью продемонстрировали документальную основу повести, сопоставив страницы из «Хаджи-Мурата» со страницами тех документов, которые были использованы Толстым<sup>1</sup>.

Так, например, ознакомившись с воспоминаниями офицера Полторацкого, служившего в пятидесятых годах на Кавказе, Толстой сделал мемуариста одним из героев своей повести, заимствовал из его рассказа многие детали, а несколько страниц из его воспоминаний прямо включил в свой текст. В «Воспоминаниях» Полторацкого есть описание обеда, данного князем Барятинским в честь уезжающего генерала Козловского. Козловский, запинаясь и прибавляя к каждому слову словцо «как», произносит прощальную речь; «Господа офицеры, как, дорогого сердцу моему, как, Куринского полка! — передает эту речь участник обеда Полторацкий. — От всего сердца приношу вам, как, мою искреннюю душевную признательность!» —

<sup>1</sup> См.: Л. Мышковская. Л.Толстой. Работа и стиль. — М., 1939. Статья «Создание «Хаджи-Мурата».

Слезы душили его. Не в силах подавить волнение, Козловский зарыдал и порывисто бросился обнимать офицеров, всех — от первого до последнего».

«...Княгиня закрыла лицо платком: она плакала. Даже князь Семен Михайлович, как-то странно скривя рот, заморгал глазами».

Весь этот отрывок из воспоминаний Полторацкого, весь, целиком, с речью генерала и со всеми подробностями обстановки, со слезами княгини и искривленным ртом Семена Михайловича Воронцова, вошел в XXI главу повести Толстого с незначительными пропусками и почти без перемен .

Таких примеров текстуальных совпадений страниц повести со страницами воспоминаний очевидцев и официальных бумаг исследователи приводят немало. Хаджи-Мурат в Тифлисском театре; Хаджи-Мурат, беседующий с Лорис-Меликовым; обстоятельства гибели Хаджи-Мурата — все это написано Толстым на основе газетных сообщений, официальных бумаг или воспоминаний очевидцев. Но, разумеется, Толстой не ограничил свою роль ролью бесстрастного компилятора. Широко используя документальный материал, Толстой превращает точные, но порой бледные и вялые записи современников в напряженный, взволнованный и волнующий художественный текст. Используя тот или другой документ, Толстой в то же время постоянно отступает от него, властно подчиняя чужой материал своему художественному замыслу, драматизируя материал, обогащая его новыми подробностями, которые он не мог найти ни в каких источниках, кроме собственной памяти или собственного воображения. Ведь два года — с 1851 по 1853-й — Толстой сам прожил на Кавказе. Это были годы ожесточенной борьбы горцев с царскими войсками. Толстой сам был участником кавказских событий, отлично знал обстановку борьбы в горах и природу Кавказа. Знал не понаслышке, не из книг, а на опыте. И вот они-то, эти взятые им «у себя самого» подробности, составляют силу и жизнь повести.

«С обнаженной головой, без шапки, — рассказывает один из биографов Хаджи-Мурата, чья работа была в руках у Толстого, — Хаджи-Мурат, как тигр, выскочил из своей засады

и с шашкой в руке один врезался в густые толпы милиционеров. Он был изрублен на месте».

«Он совсем вышел из канавы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам, — рассказывает о той же минуте Толстой. — Раздалось несколько выстрелов. Он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова, потом туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбежавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался». Когда читаешь этот отрывок из повести, во многом совпадающий со страницами использованного Толстым материала, но обогащенный конкретными подробностями боя («пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам», «поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова») — кажется, что Толстой, словно живой водой спрыснул чужие бесцветные сухие записи, сделав их драматичными, насытив собственными деталями. Детали, введенные им, продиктованы пронзительной остротой художественного зрения и, когда читаешь страницы Толстого, рядом с чужими страницами, взятыми им за основу, начинает казаться, будто именно он, Толстой, а не свидетели, чьими записями он пользовался, был очевидцем гибели Хаджи-Мурата... Животворящие подробности, приданные документальному материалу Толстым, — эти мягкие неслышные шаги Воронцова, эти тени горцев в просвете между деревьями, это шуршание солдатских сапог по сухим листьям, этот посеревший от пота белый конь, эта выдающаяся, как у детей, верхняя губа умирающего Элдара — сообщают всему происходящему несокрушимую убедительность события, совершающегося у нас на глазах.

#### БОРЬБА МОРАЛИСТА С ХУДОЖНИКОМ

Для того чтобы написать свою повесть, Толстой тщательно изучил быт того времени, о котором он рассказывает, и характеры тех исторических лиц, которые выведены у него в по-

вести. И не только изучил, но и воспроизвел с такой силой и жизненностью, что и читатель почувствовал себя, вслед за Толстым, свидетелем описанных событий, хотя с той поры прошло без малого полсотни лет. Но, тем не менее, рядом с утверждением Толстого, что он любит быть «верным действительности», следует поставить и другие слова его, сказанные одному из друзей: «На художественные произведения берут только то, что по шерсти, а что не по шерсти — откидывают».

Что же «откинул» Толстой, работая над «Хаджи-Муратом», и можно ли считать его повесть исторически правдивой в современном значении этих слов?

Лев Толстой был убежденным противником всякой социальной борьбы. В пору работы над повестью главным делом своей жизни он почитал проповедь нравственного самоусовершенствования. Естественно поэтому, что «историческую точность» он понимал по-своему, в духе своих моралистических идей, враждебных всякой социальной борьбе. Нравственные, моральные проблемы стояли у него в те годы на первом плане; они ему, пользуясь его же выражением, были «по шерсти»; политический же и социальный смысл событий на Кавказе — тех событий, которым, в сущности, и посвящена его повесть, — оказался ему чужд, «не по шерсти», и очень характерно, что, работая над повестью, он зачеркнул несколько написанных ранее глав, где рассказывалось о причинах кавказских восстаний. Толстой выдвигает на передний план, «берет» — не смысл той борьбы, которую вели на Кавказе Шамиль и его мюриды, и не роль, сыгранную в этой борьбе Хаджи-Муратом, а главным образом, душевные свойства знаменитого горца: его привязанность к семье, нежность к сыну, его обаяние, все то, что делает Хаджи-Мурата прежде всего «просто человеком», а не политическим борцом того или другого стана, человеком с детской, доброй улыбкой, к которому так легко привязываются другие добрые и любящие люди — Бутлер, Марья Дмитриевна, Элдар...

Естественно, что подобный подход к историческим событиям и личностям — подход, при котором душевные качества людей существуют как бы в отрыве от общественного смысла их деятельности — неизбежно должен был в какой-то степени

нарушить ту самую историческую истину, ту «верность действительности», к которой так стремился Толстой.

Нарушение истины сказалось прежде всего на том, как изображена Толстым фигура Шамиля.

Десятилетиями кавказские племена под руководством своих вождей — сначала Кази-Муллы, потом Гамзат-Бека — оказывали упорное сопротивление натиску царских войск: но только под руководством Шамиля искры сопротивления разгорелись в буйное пламя настоящей народной войны — войны против генералов, посланных царем на Кавказ для «истребления непокорных», и против ханов и беков, поспешивших вступить в союз с царскими генералами. В годы 1840–1845-й Шамиль одержал столько блестящих побед, что принудил царскую армию ослабить на время свои нападения.

В течение 25 лет Шамиль был «имамом» — т. е. религиозным и военным руководителем созданного им централизованного государства. Он объявил войну тем феодалам, которые держали сторону царизма, и освободил принадлежащих им крестьян от крепостной зависимости. Силой слова и силой оружия боролся он с «адатом» — старинными местными обычаями — и с самым распространенным и вредным из них: обычаем кровной мести. «Адат» разъединял горцев, а Шамиль стремился подчинить их единому закону, общему для всех племен. На место «адата» он поставил одно общее для всех мусульман право — шариат. Он строго наказывал за воровство, за уклонение от военной службы, за предательство. Он создал единую государственную казну и централизованную армию численностью в 60 тысяч человек.

Царские колонизаторы истребляли горцев Дагестана, их жен и детей. Они разоряли дотла и превращали в пустыни цветущие горские аулы. Борьба горцев под руководством Шамиля была ответом на эти зверства.

«Выдающиеся личные качества — воля, ум, храбрость, военные и административные способности — создали Шамилю широкую популярность», — пишет современный советский историк. «Тысячи горцев, самоотверженно боровшихся против царских колонизаторов, видели в нем своего вождя. Они верили в то, что под его руководством они не только отстоят

свою независимость от внешнего врага, царизма, но и добьются социального освобождения...»

Однако на страницах повести Толстого мы не найдем и отдаленного намека на подобную характеристику самого Шамиля и его роли. Перед нами человек с «каменным», «неподвижным» лицом, более всего озабоченный тем, чтобы «производить впечатление величия»... Среди друзей и врагов Шамиль славился необыкновенной храбростью — однако о его воинской доблести Толстой не упоминает ни словом, но зато мельком, как бы невзначай, упоминает о том, что в «сражении... *что бывало очень редко*, он сам выстрелил из винтовки».

Содержание военной и государственной деятельности Шамиля Толстой оставил в стороне, как бы ничего не зная о ней, и в маленьком отрывке, посвященном имаму, хотя и скрытно, хотя и исподволь, но все же с достаточной ясностью подчеркнул лишь отрицательные черты Шамиля — его жестокость, его лицемерие, его самовластие, — т. е. те черты, которые не приметно сближают имама с самодержавным деспотом — Николаем I. Недаром один из знакомых Толстого припоминает, что Лев Николаевич говорил о «параллелизме» между двумя «деспотами» — Николаем и Шамилем, недаром даже во внешности Николая и Шамиля Толстой находит какое-то сходство: у обоих огромная фигура, у обоих неподвижный взгляд; во время совещания о делах Шамиль на минуту умолкает, внушая окружающим, будто он «слушает голос пророка», — совсем как Николай I, прислушивающийся во время доклада к голосу «свыше»!

...Следы религиозного учения Толстого, учения, осуждавшего всякую общественную борьбу, всякую власть — куда бы она ни вела, — сказались и на его исторической повести. Сказались они в нарочитом подчеркивании, выпячивании на первый план жестокости Шамиля и в том, как умиленно описывает автор покорность солдата Авдеева, восхищаясь его нарочитым смирением. Но все это — лишь следы морального учения, не властные исказить глубокой истинности всего повествования в целом. Как ни стремился Толстой морализировать — его влекли к себе натуры борющиеся, сопротивляющиеся, и он, подчеркивая их обаятельность, поддавался их обаянию и сам;

как ни навязывал он своим героям поведение, соответствующее его моральным идеям, — но знание жизни брало верх, герои его ведут себя в соответствии с жизненной и — больше того — исторической правдой, а не с моральными идеями Льва Толстого.

В той самой сцене, где Толстой с такой неуклонной — хотя и скрытой — нарочитостью подчеркивает жестокость и властолюбие Шамиля, он не может умолчать о преданности народа, восторженно встречающего своего вождя, того, кто руководил борьбой с захватчиками. Скрыть чувства любви и восхищения, какие питали к Шамилю хотя бы Гамзат или родной сын Хаджи-Мурата — Юсуф, — Толстой не может. Он всячески подчеркивает мужество, доброту и привлекательность своего главного героя — в противоположность рассудительной жестокости Шамиля, — но при этом с той полной правдивостью, которой его художественный гений не мог изменить даже в угоду проповедуемой им философии, воспроизводит убожество и своекорыстные идеалы и стремления Хаджи-Мурата. В самом деле, к чему стремится Хаджи-Мурат? к тому, чтобы любой ценой снова стать властителем Аварии; причем получит ли он Аварию из рук царских генералов или из рук Шамиля — ему безразлично. Смысл государственных преобразований имама ему непонятен; все поступки Шамиля он объясняет одной корыстью. Он весь во власти предрассудков, созданных родовым строем; во власти «адата», требующего «кровной мести», — того обычая, с которым во имя сплочения горских племен борется Шамиль... «Кровная месть» — одна из главных пружин деятельности Хаджи-Мурата. Почему он не присоединился в свое время к Гамзату? Из-за «крови» аварских ханов. Почему не пристал к Шамилю? Из-за «крови» Османа. Почему совершил поразительное по храбрости похищение дженгутайской ханши? Чтобы смыть позор, нанесенный ему Ахмет-Ханом... Так черты социальной отсталости героя возникают из-под пера Толстого даже тогда, когда он хотел бы всячески затушевать социальную природу личности, подменив ее душевными качествами.

Язык повести тоже служит воплощению исторической правды, реалистически-правдивому, жизненно-верному изображению людей, характеризующему их социальную сущность.